



П о в е с т и

ИГРА В ПЕПЕЛ

...и вот я открываю этот чудесный альбом, непонятно как сохранившийся в катаклизмах времён, осторожно трогаю истёртый почти до основания обложечный бархат, переворачиваю ветхие листы, вдыхаю их запах, который нельзя описать, а можно лишь обозначить как *запах эпох*, и вглядываюсь в лица на старых фотографиях: вот дагеротип моего прадедушки Чижика Красивого, застывшего на века рядом с супругой, — она в кружевном чепце и пышном провинциальном платье, он — в сюртуке, с роскошной купеческой бородой... а вот худенький подросток ангельской внешности, — у него огромный *ремингтон* на боку, — это их дочь, моя бабушка; на фото, я полагаю, ей лет шестнадцать, не более того... а вот — её брат, зарубленный красными, рядом — другой брат, — расстрелянный белыми; на следующем листе — мой дед рядом с атаманом Махно, — стоит, возвышаясь над баткой на целую голову, Махно — в доломане, как будто бы он венгерский гусар, а дед — в гимнастёрке, широких

галифе и сапогах в гармошку, на голове у него — чёрная баранья папаха, и сам он какой-то весь чёрный, словно копчёный, а вот — дядя Саша, гений скрипки, как величал его Луначарский, выдающийся дядя Саша, вырванный в двадцать третьем из чекистских лап королевую Нидерландов... а здесь — мой другой дедушка, расстрелянный в тридцать восьмом Владимир Михайлов — в обнимку с другой бабушкой, будущей колымской сиделицей, двадцать пять лет оттрубившей в другой вселенной... я переворачиваю ещё пару листов и вижу улицы заштатного городка, входившего когда-то в состав бывшего Виленского воеводства; название городка — Лида; это почтовые карточки самого начала прошлого века... вот известный лидский налётчик Витольд, настоящее имя которого — Витя Шмараков... долго не знал я, в каком родстве состою с ним, а потом оказалось — ни в каком... в самом конце альбома есть изломанная фотография лидского гетто, но фотографий моих родных, увезённых оттуда в Майданек, вовсе не сохранилось... зато есть карточки мамы, папы, дядёв, тёток, неизвестных мне внучатых племянников, троюродных братьев, сестёр... есть и фотографии деда без Махно, без папахи, но в офицерской фуражке с красной звездой и с рядами орденов на груди, а ещё — несколько вовсе уж странных изображений: таборные цыгане возле реки, через пару листов — толпа здоровенных негров на фоне пальмовых зарослей, какие-то воинственные индийцы в тюрбанах, и дальше — удивительный раритет: три снимка в окопах неизвестной войны, а на одном из них рядом с близнецами лет по пятнадцати — мальчиком и девочкой — человек, странно похожий на ещё

молодого Хемингуэя... сколько чудес в чужих фотоальбомах! а и в своих порой можно много необычайного сыскать... мог ли знать я, к примеру, что-нибудь о боевом прошлом моей уютной бабушки, к которой любил в детстве залезть на колени или сигануть с разбегу в её объятия, чтобы просунуться в кольцо больших рук и прижаться бодливым лбом к мягкому животу, прикрытому свежим фартуком, уже впитавшим в себя вкусные утренние запахи ванили и сдобы, кофе с корицей, лимона и яблочного повидла, а ещё — едва уловимого запаха июльской пасеки... и в те дальние, едва брезжащие издавека годы я не задумывался о том, что у человека может быть прошлое, ведь ребёнок пяти-шести лет не способен же понимать ушедшее время — в маленьком сердце его нет пока образов умерших родных, которые и являются как раз воплощением того, что было и уж никогда не вернётся, а я... я даже не знал тогда, что любимая бабушка моя Прасковья Григорьевна происходила из большого села Чижиково, с двенадцатого века притулившегося под Ростовом и известного своим возрожденческим духом, — четырежды на протяжении трёхсот лет сжигали его монголы, крылатые польские шляхтичи и неизвестно кто ещё, и каждый раз село отстраивалось вновь; хотели его по этой причине даже переименовать иначе и впредь называть Фениксом, — то было уж в конце девятнадцатого века, когда губернская власть озаботилась, как сказали бы сейчас, распилом дарованного монархическою волею бюджета, — хороший повод, — а и не срослось, помешал какой-то совсем не гогаевский ревизор, который сражён был не только масштабами вселенского воровства окрестных бюрократов,

но и тем чрезвычайным обстоятельством, что все жители села поголовно звались Чижиками, отличаясь друг от друга только описаньями — Чижик Большой, Чижик Маленький, Чижик Хитрый, Чижик Мордастый, — и прозвищам этим не было числа; отец бабушки Прасковьи носил определение Красивый и в отличие от своего средневекового тёзки Филиппа IV Красивого был покладист, кроток, добр и благосерден, возможно, даже в большей степени, нежели иная девица; бабушка — в него — родилась такой красивой, что смущала внешностью своею и державной статью весь край, но уж фамилию носила она далеко не благородную, — как и у всех иных сельчан, в её бумагах означалось — Чижикова, и родовое село её в этом смысле было таким ономастическим, что ли, заповедником, в котором случайно оказался как-то по своим лихим делам будущий мой дедушка Иосиф, бандит, разбойник и самый настоящий, как сказали бы сейчас, дворовый гопник, получивший в своё время прозвище *Лидский Робин Гуд*, — Лидский потому, что происходил он из белорусского селенья Лида, знаменитого своим замком, построенным в XIV веке князем Гедимином, — Робин Гуд же — потому, что всё нажитое опасной бранью, то есть приобретённое разбоем-грабежом, отдавал он беднякам, за что те дедушку безмерно уважали и даже просились иной раз в его замечательную шайку, — он же никого сверх известного числа не брал, полагая крестьянина крестьянином, а разбойника — разбойником, довольно, дескать, и того, что сам он и все люди его *преступного сообщества* достаточно уж набрали грехов перед Создателем, посему большой грех — это множить сущности и сбивать с пути

истинного мирных хлебопашцев; так или иначе, дедушка почитал себя уж пропащим человеком и разве не отягчал душу грехом смертоубийства, справедливо полагая, что нельзя же брать на себя Господню волю, — грабежа он, впрочем, не бежал и оправдание давал себе тем самым обстоятельством, что награбленное дарил тут же беднякам; так он и закончил бы каторгой на Акатуе, ибо знамо дело: сколь вору не воровать, а кнута не миновать, — однако же не тут-то было — четырнадцатый год поставил деда у черты, и он свой нелогичный выбор сделал: поди узнай теперь, что творилось у него в башке, когда он бросил разбойный промысел и явился под мобилизацию; воевал он с жаром и ожесточённо, получил два ранения и солдатского Георгия, а в шестнадцатом году, наслушавшись красных агитаторов, вдруг переменялся, залюбил бузу, лозунги да истерические речи и стал снисходительно относиться к братанию с врагом, что должно было привести его рано или поздно в стан ниспровергателей, но не привело, так как в начале восемнадцатого года решил он вдруг, что своя рубашка ближе к телу и нѣхрен ему служить у красных, как, впрочем, и у белых, — только судьба по-своему судила: под сожжённой Знаменкой попал он в плен к григорьевцам, и Григорьев, видя его национальность, самолично приказал убить, только хлопцы решили пошалить и взялись мучить пришлеца, — шашки их с нагайками знатно потрудились и даже не устали, — с чего ж устать, ежели сработаны они из бездушных материалов? так и бросили его, наигравшись, в ближней балке, почитая мертвецом, — он лежал едва живой и не вспоминал, как о том пишут в романах, свою, в общем-то, ещё

и не состоявшуюся жизнь, да что было вспоминать? набеги-налёты-захваты-грабежи? что было в этом достойного воспоминаний? ни-че-го... он вспоминал только любимую Лиду и халупу родителей на берегу Лидейки, в те годы вполне ещё чистой, под кручами которой в корчагах водились зеленовато-коричневые раки, а на стремнине — голубые рыбы... в окрестностях городка жили в колоссальном количестве чёрные воробы, прилетавшие на Базарную площадь всякий раз по окончании торговых дней и клевавшие скудную дань, упавшую с продовольственных телег, — вороны были похожи на лидских евреев, собиравшихся в субботу перед синагогой: почтенные отцы семейств в чёрных лапсердаках, подростки, старцы... вороны являлись всей общиной, кормились и, разом снявшись, улетали в окрестные леса... улетаая, превращались они в гигантский траурный ковёр, закрывающий полнеба, движущийся чёрный плат, словно бы перетекающий волнами с одного края вселенной на другой... он вспоминал их, когда сидел в темноте перед полыхающей печуркой и мечтал о пепле, который мать даст ему — сразу, как выгорят дрова, — игрушек он не знал, знал камушки, собранные на Лидейке, — и вот мать давала ему пепел, — она выгребала его из поддувала, куда он попадал, падая с колосников... специальным совочком сбирала его и сыпала в мятый таз, назначенный для стирки, — Иосифу было года три, а может быть, четыре, и он обожал играть в пепел или, лучше сказать, — играть с пеплом: мать сажала его возле таза, и он с удовольствием возил ручонками внутри, — это была такая нежная, едва тёплая субстанция, мягкая, бархатная, приятно ласкающая детские ладошки, прикосновение

которой успокаивало душу, смягчало сердце и даже утишало голод, всегда сопровождавший маленького Осю... он лежал в балке, умирая, и пошевеливал пальцами, как будто прикасался в своём воображении к пепельной поверхности... ему было покойно, и он уже смирился с мыслью о том, что, как ни крути, а придётся ж таки нынче умереть... но он не умер, — потеснив Григорьева, окрестности Знаменки заняли махновцы да и подобрали истерзанного деда... он потом служил в культпросветотделе армии Нестора Иваныча и работал в армейской газете «Путь к свободе», где даже впитал некоторым образом идеи анархизма, листая на досуге Бакунина с Кропоткиным; тут же, у Махно, он встретил как-то бабушку, которая о ту пору была отнюдь не бабушка, а девушка — неполных семнадцати годков, — это был такой чертёнок в английском обмундировании, стриженный под мальчика, — с огромными синими глазами и нежной кожей тонкого лица, её фигурка так выгодно была стянута портупейными ремнями, что ни один мужчина в армии Нестора Иваныча не мог равнодушно пройти мимо этого во всех смыслах противоречивого создания с личиком херувима и ремингтоном на боку, отобранным под Гуляйполем у некоего интервента, — этот древний револьвер с гранёным стволом, латунным курком и блестящим барабаном помнил ещё Гражданскую войну в Америке и кровь спесивых южан; здесь же, в лесах и степях Малороссийского края, баснословному стальному убийце подчинялись и красные, и белые, и вольница многочисленных окрестных батек, — лишь единственный раз ремингтон подвёл Прасковью, или, как звали её в отряде, Пашу, — когда она в бою вылетела

из тачанки, а револьвер, засыпанный песком, стал давать осечки; было это в знаменитом бою под Перегоновкой: Махно противостояли части белых, составленные из двадцати тысяч штыков и десятка тысяч сабель, — накануне батко отступал, и в конце концов Слащёв прижал его к петлюровскому фронту, который повернул оружие против вчерашнего союзника, — этот предательский манёвр загородил повстанцам путь к спасению, — Махно не захотел пропасть в гибельном мешке, вскочил на коня и кинулся со своими командирами формировать кулак, чтобы смести надвигавшихся на него безудержной волной врагов, — вдоль фронта выстроил он гигантское каре и неожиданно атаковал; было это двадцать шестого сентября девятнадцатого года: в ночь на двадцать седьмое к Перегоновке выдвинулись бомбисты-минёры и взорвали две тысячи морских мин, обременявших обоз, — по этому сигналу дрожащая от нетерпения и злобы армия с диким рёвом ринулась вперёд и погнала растерявшуюся белую гвардию к Умани, всё сметая на своём пути... шесть тысяч добровольцев полегли под махновскими шашками на северном участке фронта, три тысячи были захвачены в плен на южном, и только восточный участок с ожесточением сражался, не желая отступать; обходя фланги, повстанцы шли в штыковую и методично резали упрямого врага, но он держал фронт, вцепившись зубами в свои накрытые пороховым полом окопы; белые отражали атаку за атакой, а потом поднялись и пошли вперёд, и эта безумная лава, эти окровавленные, истерзанные фигуры в грязных бинтах с такой отчаянной безысходностью и решимостью погибнуть двигались на махновские цепи, что повстанцы

дрогнули, и... кто-то уже побежал, кто-то рухнул лицом в комья дымящейся земли, а кто-то, упав на колени, уронил винтовку и — заплакал... но тут со стороны Умани вымахнула махновская кавалерия, и её крутящиеся шашки, как молнии, вспыхнули в ночи, отражая огни артиллерийских разрывов! в авангарде летел Махно, и увлекаемая им конница уже чуяла победу; впереди фронта вихрем неслась тачанка, и тройка её обезумевших коней уже готова была подняться над землёй, опираясь на призрачные крылья, — в возке сидел сгорбленный стрелок, справа от него на месте помощника, приготовляя и поддерживая пулемётную ленту, сидела Паша... повозка неслась... быстрее, быстрее, ещё быстрее... и вот уже взмыленные кони врываются в самую гущу ошеломлённых добровольцев и, словно ножом, взрезают их смешавшиеся ряды... грохот стрельбы, близкие разрывы снарядов и дальняя артиллерийская канонада сливаются в общий гул, от которого немеют сердца и холодеют души, — огни и вспышки всякую минуту являются там и сям, кони несутся на пределе возможностей, и дюжина копыт страшной повозки грохочет как сотня барабанов... вихрь, пыль и всполохи пулемёта, крутящегося по сторонам! дед Иосиф, в те годы, разумеется, тоже никакой не дед, а вполне себе молодой ещё мужчина неполных четырёх десятков лет, скакал на статной кобыле, едва видя вдалеке стремительную фигуру атамана, — скакал, ощущая в себе непонятное бешенство и дерзкий кураж, — кобыла под ним дрожала от возбуждения и вся, от ноздрей до самого кончика хвоста, безудержно стремилась вперёд... он видел, как летящая впереди тачанка плавно вошла в чёрный сгусток толпы

и, продолжая рассекать её надвое, понеслась дальше — вперёд, вперёд! — *максим* яростно плевался свинцом, как плюётся ядовитой слюною умалишённый в руках озверевших санитаров, и на левом фланге, там, где находился Иосиф, слышны были ритмичные пулемётные трели, доставляемые горьким ветром, да тонкий голосок Паши, истерически орущей что-то в пылу атаки... тут возница взял в сторону, и повозка сделала крутой вираж! медленно разворачиваясь в пыльной взвеси, она накренилась и стала на один бок, но возница, пытаясь удерживать коней, изо всех сил натянул сырые вожжи... в этот миг Паша вылетела из повозки и покатила по земле! — рассеявшиеся добровольцы были далеко от неё, но Иосиф понял, что смерть совсем рядом с маленьким бойцом; повернув кобылу, он быстро поскакал вперёд и успел увидеть, как Паша, едва сидя на земле, с трудом вынимает ремингтон и целится во врагов... он летел вихрем и, чувствуя, что не успевает, не успевает! ударил шпорами кобылу! она дико скакнула и понеслась пуще! маленький боец с ремингтоном в руках вдруг шатнулся и медленно повалился... тачанка тем временем резала широкий круг, чтобы не подпустить к нему никого, никого, а Иосиф нёсся наперерез, и вот, уже влетев внутрь круга, он на полном скаку осадил кобылу, взметнувшую копытами клубы пыли, засыпавшей поверженного бойца, который как раз открыл глаза и увидел, как, свесившись откуда-то сверху, приближается к нему искажённое предельным напряжением лицо и тянется рука, грубо хватающая за гимнастёрку... рука заслонила мир, и Паша больше ничего не видела, — ощутив резкий рывок, она почувствовала лёгкое парение и поплыла

в ночном небе, и звёзды сыпались ей в лицо... Иосиф подхватил лёгкую фигурку и уложил впереди седла... а махновская конница меж тем летела вперёд — с гиканьем, криками и диким посвистом; всё плотнее сжимали белую гвардию клещами — со стороны Ятрани и со стороны Синюхи, вот враг дрогнул и... побежал, — одна отступающая толпа ринулась в Краснополье, другая — на Перегоновку; лабинские полки в Краснополье вынуждены были сдать, а *литовские* не захотели плена и были безжалостно расстреляны из закипевших пулемётов; в Перегоновке белые приняли рукопашный бой, — у них не было иного выхода, — и почти все погибли, — немногие отступили к Синюхе, блиставшей под рассветным небом тяжёлой водой, но переправиться не успели, — те, кого застигли на берегу, были изрублены шашками, а остальных загнали в реку и топили винтовыми выстрелами, — так погибла огромная армия на пространстве более двадцати пяти вёрст, и не скоро ещё добровольцы оправились от этого удара... между тем батько Григорьев, коварный предатель всех и вся, личный враг Махно и главкома Антонова-Овсеенко, также терял захваченные города, и вскоре пала его столица — Александрия; когда из штаба приходили сводки, Иосиф мстительно шипел, проклиная Григорьева и радуясь его разгромам, это была, впрочем, такая одиозная фигура, которая могла возбудить ненависть в любом, хоть сколько-нибудь размышляющем нормальном человеке, ибо сей батька всею Малороссией признавался ненавистником людей, антисемитом и садистом, посему конец его был определён, — застрелил его сам Нестор Иванович Махно — на крестьянском сходе у Сентово,

но потом и махновские дела пошли так криво, что батько не знал уж, как ноги унести: едва выйдя из-под Гуляй-поля, где его армия была окружена, устремился он в сторону Румынии, которая казалась ему последнею соломинкой, — красные с ожесточением гнали его по Украине, надеясь разгромить в прах, однако он всё же ускользнул, — получив в последних сражениях две контузии и четырнадцать ранений, он прорвался через границу возле Ямполья; из страны вышли с ним семьдесят восемь человек, среди которых были Паша и Иосиф, не захотевшие бросить атамана, — все были интернированы и помещены во вшивые бараки, в которых пережили, голодая, зиму; Советы тем временем требовали выдачи Махно, и сам нарком Чичерин, несмотря на своё дворянское происхождение и высокий министерский статус, ругался отборным русским матом, которому научил его когда-то кучер матушки, остзейской дворянки Жоржины Егоровны Мейендорф, — румынские власти к этой ругани отнеслись без интереса и сделали всё, чтобы Махно с группой соратников бежал; Иосиф при побеге отбил от батька, замёл следы и, взяв направление в румынскую глубинку, удачно залёг возле сельских поселений: решение его было более чем верным, потому как рядом с Махно недолго б он плясал, — Нестор Иванович всё мыкался в Европе и, как магнит, притягивал к себе разные напасти, — сначала жил впроголодь в польском лагере для интернированных лиц, был арестован, судим и сидел в одном из варшавских равелинов, а потом поехал в ссылку — на самый север Польши, и поляки, видать, так сильно поприжали бывшего вояку, что он даже пытался покончить с жизнью, — а и не судьба, ибо

не мы распоряжаемся своею волей, а лишь Господь, который полагал батьке ещё целых десять лет, в течение которых много чего было: в Данциге его пленили советские чекисты и, сунув на заднее сиденье авто, отправили в Берлин, чтобы через посольство вывезти в Москву, да, зная, забыли его чудачества под Гуляйполем: дорогой Махно выбросился из авто и сдался всё понимающей полиции, — так Совдепия лишилась показательного узника, а сам он с помощью товарищей весной бежал в Париж; Иосиф тем временем жил в цыганском таборе, и ромы почитали его за своего: он был черняв и горбонос, чрезвычайно музыкален, прекрасно знал коней и виртуозно воровал... кроме того, любвеобильность его вызывала изумление: почти одновременно семь таборных цыганок завели младенцев, и всем было хорошо известно, кто именно стал причиной столь мощного демографического взрыва; со временем к Иосифу выстроилась очередь, — его хотели все — и молодухи, и умудрённые опытом зрелые красотки, — он же не мог обидеть невниманием даже самую страшную соседку; шесть его любовниц воспитывали мальчиков, а седьмая, разродившаяся двойней, — мальчика и девочку; табор в то время стоял на Дунае в окрестностях Браилова, и цыгане намеревались провести ещё остаток лета в этом благодатном месте, но в последний день июля во влажных сумерках рассвета над кибитками явилась загадочная тень, накрывшая в несколько мгновений ближние окрестности: с неба к остывающим ночным кострищам спустилась фиолетовая голубица, — на одной из своих лапок она несла письмо, в котором индийские цыгане звали своих румынских братьев в Индию, — на границе с Непалом

собирались они строить поселение, добиться автономии, а затем и независимости с тем, чтобы иметь возможность единения цыган всего мира на прародине; идею шумно обсуждали, придя спустя неделю к тому, что следует откликнуться на зов индийских соплеменников; расчислили дорогу и долго ещё сравнивали два пути: сухопутный и морской; сушей можно было через Болгарию, Турцию и Ближний Восток попасть в загадочную Персию, а уж оттуда — в Индию; иной путь был длиннее, однако безопаснее: следовало добраться до Константинополя, одолеть Средиземное море, далее по территории уже освобождённого Египта выйти к морю Красному, проплыть его вдоль — по всей длине, и дальше, преодолев Аденский залив, попасть в воды моря на сей раз Аравийского, — а там уж и Индия, правда, чтобы разбить шатры на северо-востоке, у Непала, нужно было эту страну пересечь от края и до края, — да разве цыган напугаешь расстоянием? и вообще, предприятие не казалось им сложным, — политика их не занимала, и с британцами они вовсе не собирались что-либо обсуждать, делая ставку на Махатму Ганди, а дорога, добывание питания и сопутствующие приключения были для них вполне обычным делом; однако же судьба в конце концов распорядилась так: в Египте табор распался на три части, и самая малочисленная часть пошла на север, попав спустя некоторое время в Палестину, где на берегах озера Кинёрет основала поселение, — эта странная *репатриация* совпала, между прочим, с третьей алиёй, волна которой принесла в Эрец Исраэль неистовую Голду Меир... другая часть табора — самая большая, — как и задумывалось с самого начала, морем добралась

до Индии, — следует сказать, не без труда, потому что в Константинополе цыган не брали на борт ни торговые, ни тем более пассажирские суда, — тогда цыганки поснимали с себя серьги, кольца и браслеты-дутьши, — отдав золото греческим контрабандистам, они заплатили за проезд и вскоре ступили на рубиновый берег Индостана; третья группа, в коей оказались по преимуществу наложницы Иосифа, их дети и несколько мужчин, в отличие от первой двинулась в противном направлении — на юг и после трёх лет скитаний пустила корни в Кении; была ещё потеря на железнодорожном вокзале в Бухаресте, где одна из молоденьких цыганок, как раз та, что родила от Иосифа разнополых близнецов, потеряла их посреди вокзальной суматохи, — дети канули, и только спустя много-много лет следы их сыскались в Каталонии... сам Иосиф не пошёл ни с кем, — вовремя опомнившись, остался он в Египте с намерением в ближайшие месяцы вернуться в Лиду, но по крайней мере необходимо было ему найти пути назад, почему он и решил пока что обосноваться в городских трущобах, где втёрся в шайку местных маргиналов и прожил два-три месяца, занимаясь мелким мошенничеством с этими экзотами, а 19 ноября 1924 года в Каире был убит британский генерал-губернатор Ли Стэк, ставший разменной монетой в отношениях Соединённого Королевства с упрямым королём Фуадом, — вот какое, казалось бы, касательство имела эта высокая политика к маленькому человечку, вышедшему из покинутого Богом штетла? а имела! потому что в связи с убийством возникли беспорядки, что побудило каирскую полицию осуществить множество арестов; таким образом шайка трущобных

маргиналов, не исключая и Иосифа, попала в местную тюрьму, где провела без малого полгода, после чего начальство решило проредить переполненные камеры, и Иосиф в числе других оборванцев был вышвырнут на улицу... к лету прибыл он в Париж и в попытках сыскать своего дорогого предводителя Нестора Махно приехал с оказией в Венсён, — здесь указали ему жалкое строение, по виду и по сути хижину, где обитал в полной нищете некогда всесильный атаман, добывавший себе скудное питание посредством плетения домашних тапочек... о, ирония насмешливой судьбы! чем выше мы взлетаем, тем ниже падаем... как, надо полагать, стыдно было атаману, мановением руки двигавшему ещё недавно многотысячные армии, думать о себе как об *изготовителе домашних тапочек*! и ведь он ещё страдал от ран, — старые раны мучили его и запущенный туберкулёз; приглядывали за ним жена Галина и Прасковья Чижикова, Паша, которую когда-то Иосиф спас от гибели... как она смотрела на него тогда, желая, видимо, особой дружбы, да уж непросто в те годы давались отношения, потому что вопрос для всех *ровесников века* в начале двадцатых стоял так: жить или не жить, и вовсе не было вопроса — любить или не любить, потому-то Иосиф и залёг предусмотрительно в Румынии, ведь остаться с Махно было опасно, что, кстати, доказала судьба его супруги, которую Советы арестовали уже в сорок пятом, да и посадили аж на десять лет! — хорошо помню её фото в моём историческом альбоме и могу освежить свою память, ежели забуду: в семьдесят седьмом году я работал на московской киностудии и, будучи в Джамбуле на съёмках документальной ленты

о хлопчатобумажном комбинате, посетил Галину Андреевну Кузьменко, боевую соратницу Махно; открываю свой альбом, непонятно как сохранившийся в штормах истории, осторожно трогаю истёртый почти до основания бархат, переворачиваю ветхие листы, вдыхаю их запах, который нельзя описать, а можно лишь обозначить как *запах эпох*, и снова вглядываюсь в лица на старых фотографиях: вот на первых листах его Галина Кузьменко стоит рядом с Махно, — яркая, целеустремлённая, волевая, с безумными какими-то огнями в глазах... пролистываю альбом, и вот она же — это моё собственное фото — тихая, скромная старушка в деревенском платке: благостно улыбается, глядя на меня из далёкого уже семьдесят седьмого года, а в огромных глазах её — та же воля, та же устремлённость и те же безумные огни! правда, она не поверила, чувствуя какой-то подвох с моей стороны, что Иосиф в самом деле мой дедушка, и даже фотографии конца девятнадцатого года, которые я достал, вовсе её не убедили... впрочем, в сторону жену Махно, речь ведь не о ней, а о моих бабушке и дедушке, которые быстро собрались, простились с батькой и, что называется, на перекладных вскоре добрались до Лиды, — здесь Иосиф почти сразу крестился, чтобы жениться на Паше, и вскоре у них родилась маленькая Соня, а счастливый отец, после явления ребёнка вроде бы угомонившись, отправился устраиваться на лидский пивоваренный завод, основателем которого был человек с опереточной фамилией Пупко, — этот Носель Зеликович к тому времени уже почил, и делами заправлял его сын Мейлах, — к нему-то и явился Иосиф наниматься на работу, но Мейлах такого работника не хотел, зная

за ним молодецкие грешки, да и отказал, более того — ему работники и вообще были не нужны: за десятилетнюю эпоху войн и революций некогда процветающий завод пришёл в упадок; в двадцать пятом у Мейлаха работали всего два десятка человек, а пива выпускали в семь раз меньше, нежели перед войной; увеличить выпуск было трудно, так как политика во все века регламентировала жизнь и работу человека: в двадцатом году в Лиду вступила Вторая армия Войска Польского под командой генерала Эдварда Рыдз-Сми́глы, который, между прочим, в Божьих списках вовсе не значился военным, а значился — художником, которому, если бы не кровавые передрыги начала двадцатого столетия, суждено было стать вровень, может быть, с самим Матейко, — у него был большой талант и фундаментальное образование, полученное в Ягеллонском университете и в Академии искусств в Кракове; вот рисовал бы он, к примеру, батальные полотна, изображающие Грюнвальдскую битву или парадные портреты, скажем, маршала Пилсудского — в исторических доспехах князя Ягайло, и ещё неизвестно тогда, как пошла бы советско-польская война, результатом которой стал Рижский договор, — по нему Лидский повет со всеми потрохами отошёл к державной Польше, — и Лида, разумеется, — вот почему Иосиф не получил работы у Мейлаха Пупко; причинно-следственные связи здесь выстроились так: местное крестьянство и городская беднота так обнищали, что пили только воду, пришлые поляки пиву предпочитали чёрный кофе, к тому же новые вожди насаждали антисемитизм и призывали бойкотировать еврейские товары, — оптовые склады бровар утратил,

сбыт упал, и вот результат — лишние люди заводу не нужны; так Иосиф остался не у дел, и спасибо, таким образом, Эдварду Рыдз-Смиглы и Мейлаху Пупко, благодаря которым мой дед стал миллионером и закопал для внучка, то есть для меня, небольшой сундучок с червонным золотишком — в укромном уголке замка Гедимины, откуда мне его уж и не взять; в новых обстоятельствах хитрый Иосиф не вернулся к своей профессии благородного разбойника, ибо понимал: с панами шутки плохи, вмиг окоротят, это тебе не еврейских коммерсантов безнаказанно трясти! он стал наносить визиты влиятельным лицам польской администрации, представляясь успешным предпринимателем и даже концессионером, сделался завсегдатаем Виленского магистрата, Воеводского ведомства, финансового отдела Торгово-промышленной палаты, свёл знакомства с сильными мира сего и стал вхож во все хотя бы мало-мальски значимые дома местного бомонда; одевался он блестяще, носил в петлице золотой брегет с цепочкой и пах садовыми фиалками, более того, общаясь с влиятельными лицами, был строг, учтив, предупредителен, а дам поражал хорошими манерами, изысканным вкусом, широкой эрудицией и оказывал им ненавязчиво любезности, не скупясь на комплименты, — где он нахватался этого сиропа — черти знают, не у Махно же, в самом деле! но важен результат — везде он был в фаворе и везде были у него *свои*; продукты брал он на складах, мануфактуру ему просто доставляли на дом, и очень скоро всю Лиду наводнил он своими векселями; натурально уверяя всех, что в Вильне, Лодзи и, разумеется, Варшаве имеются у него успешные и процветающие предприятия, стал человеком

с возможностями и постепенно втянулся в такие аферы, которых до него за всю свою семисотлетнюю историю не знала Лида: он брал подряды, бесконечно что-то строил, перестраивал, приводил и без того прекрасное в состояние изумительного совершенства, — прожектар его не было числа; под какую-то недвижимость мифического свойства умудрился он взять в Виленском земельном банке немыслимую по тем временам ссуду, и то было лишь начало: имея в кармане кучу рекомендательных и аттестационных писем от именитых людей края, Иосиф взял ссуды ещё и в Банке Польском, в Кассах Стефчика и в Почтовой сберегательной; непостижимым образом этому обаятельному проходимцу все верили безоговорочно, — дошло до того, что ему ссудили деньги даже лондонский *British Overseas Bank* и голландский *Suikermaatschappij*, куда он влез благодаря посредничеству Брестского отделения Сахарного банка, который курировал сахарное производство; да! следует сказать, что после получения этого кредита Иосиф снёсся со своими цыганами, к тому времени уже прочно обосновавшись в Индии, и отправил к ним целую стаю почтовых голубей, надёжно прикрепив к их лапкам двадцатидолларовые золотые монеты 1882 и 1894 годов, на реверсе которых над изображением белоголового орлана значилось *IN GOD WE TRUST*, что незнакомый с языками Иосиф переводил так: мы, дескать, *доверяем Богу*, а раз так, то и вы нам доверяйте! — на эти деньги цыгане закупили у индийцев сахар и отправили нашему герою, он же, вдвадорога впарил его Сахарному банку, с этих денег вернул ссуду, проценты, да ещё и наварился; дальше — больше: Виленский земельный банк после

войны выпускал залоговые векселя и в конце двадцатых платил по ним немислимые тринадцать с половиной процентов с номинала, так Иосиф всеми правдами-неправдами скупил их столько, сколько смог, и не прогадал, — банк исправно платил дивиденды даже в годы мирового кризиса; чуть позже Иосиф свёл короткое знакомство с амбициозными основателями Сельскохозяйственного банка, Здиславом Людкевичем и его братом Северином, которые поддерживали *осадников*, открывая льготные кредиты их хозяйствам, — Иосиф так очаровал братьев, что эти доки, которые на деньгах собаку съели, с удовольствием *порадели родному человечку* и дали ему кредит для обустройства осаднических поселений и проведения мелиорационных работ в ближайших к ним окрестностях, — Иосиф бодро засучил рукава, поставил ограждения, вбил в землю сотни колышков и раструбил во всех газетах о своих знаменательных победах, — дело тем временем стояло, а деньги размножались, крутятся в банках; между тем начал он приготавливаться к неслыханной афере, которая сулила ему безоблачную жизнь до окончания его века: кружными путями узнал он, что Москва планирует беспрецедентную продажу императорских сокровищ, ожидающих своей участи в Гохране, — это был второй раунд продаж после серии масштабных сделок с доктором Армандом Хаммером, — и вот наш предприимчивый артист — в смысле артист своего дела, — нанял человека, который, втеревшись куда надо, провёл в Министерстве внешней торговли и в Фонде валютного управления Наркомфина необходимые дебаты, согласно которым в обмен на царские брильянты Иосиф обязался поставить Советам через

General Electric — гигантские турбины, а через заводы Круппа трансформаторы, — СССР в те годы уже вовсю строил Днепрогэс, но валюты на покупку дорогого оборудования в стране сильно не хватало, — продавали нефть, лес и хлеб, вырывая его из глоток в первую очередь забитых сельчан, более того — чтобы пополнить казну, душили деревню прямыми и скрытыми налогами, уронили цены на сельхозпродукцию, а на промышленные товары против прежнего — повысили, — денег всё равно не было в достатке! тогда и решили снова уступить западным дельцам кое-какое золотишко: в ход пошли ювелирные украшения царского двора, яйца Фаберже и много ещё разного добра, присвоенного впопыхах новой властью, — так пошло кое-что в Америку, в Европу, а Иосиф в качестве жеста доброй воли перевёл часть своих кредитов в Наркомфин; следует сказать тут, что распродажа ценностей Гохрана велась тайно, поэтому брильянты добрались до Иосифа конспиративными путями, — хранить их на территории Второй Речи Посполитой было глупо, потому что Иосиф, как всякий аферист, обладал хорошей интуицией, которая сообщала ему большие перемены в будущем, — прекрасно сознавая это, он двинулся в сельскую глубинку, нашёл там знатных овцеводов, да и купил у них целую отару; половину животных он пустил под нож, мясо продал, а шкуры выделал и надел на оставшихся овец, — эти овцы одной прекрасной ночью перешли западную польскую границу и через Германию перекочевали в Амстердам, где животных раздели, сняли с подкладок их *тулупов* ювелирные украшения и камни да поместили всё это счастье в *Stadsbank van Lening* — один из старейших

нидерландских банков, на имя, разумеется, Иосифа... так стал он одним из самых богатых граждан Польши, что, впрочем, не добавило ему ни счастья, ни покоя... и вот открываю я иной раз свой чудесный альбом, непонятно как сохранившийся в штормах истории, осторожно трогаю истёртый почти до основания бархат обложки, переворачиваю ветхие листы, вдыхаю их запах, который нельзя описать, а можно лишь обозначить как *запах эпох*, и вглядываюсь в лицо своего неутомного деда, стоящего рядом с бабушкой возле скромного одноэтажного дома, который в сравнение не идёт с домами зажиточных аборигенов или пришлых поляков... зачем ты, дедушка, с такою истовою страстью стремился стать богатым? копил американские монеты, владел миллионными счетами, хранил в банковских ячейках уникальные ювелирные изделия? — мы его похоронили в восемьдесят пятом, ста пяти лет от роду, и всё его богатство составили два ордена Красной Звезды, орден Красного Знамени, орден Славы третьей степени, Отечественной войны второй степени и целая куча медалей, которые он хранил в коробке из-под обуви... к чему скрывать — от прежней буйной жизни осталась у него в потайном схроне занятная вещица — антикварный аграф возрастом не менее ста пятидесяти лет, тончайшей работы — зеленовато-жёлтого золота букетик незабудок, усыпанный бриллиантами; камней на нём, правда, почти и не осталось, они спасали семью во времена послевоенного голода, да и потом не раз выручали в трудные периоды советской жизни... я всё всматриваюсь в лица на старых фотографиях и осторожно, кончиками пальцев поглаживаю шероховатый *унибром* — дед, бабушка...

дедова мама — сидит на скамеечке у дома, и так похожа она чем-то на снятую мной в семьдесят седьмом вдову Нестора Махно, — такой же деревенский платок, такая же благодатная полуулыбка и такие же безумные огни в глазах... это поколение вообще было отмечено некоторым сумасшествием, а дед Иосиф и подавно в кое-какие периоды своей жизни выходил за пределы строгого регламента и, вытворяя порой совершенно немыслимые вещи, злостно нарушал установления режимов, при которых довелось ему и так и сяк испытывать судьбу... чёрта ли надо было ему в его многочисленных аферах, не из-за денег же он столько колотился... думаю я теперь, не успевши хорошенько расспросить его при жизни, что разбойничьи дела нужны были ему ради куражу и ощущения яркости земного бытия; он любил буйно раскрашенные цветы, вихри сражений и барабаны артиллерийских канонад, любил конную атаку и грохот копыт взбесившихся эскадронов, он обожал неразведённый первач и непередаваемый шарм пышных брюнеток с вульгарными губами; когда он бродил с цыганами в Румынии, мир представлялся ему несовершенным, но то было лишь в начале странствий; в детстве он плохо различал цвета, а в зрелости разноцветные юбки цыганок помогли ему обрести настоящую свободу взгляда; цыгане научили его правдоподобно лгать, и спустя годы он стал рассказывать баснословные истории людям, от которых зависело будущее родины... его обожали женщины, собаки, лошади... окна его дома облюбовали стройные удода в красивых опереньях... цирковые артисты были без ума от него, городовые и полицейские за честь почитали перекинуться с ним иной раз

ласковым словом, а капитаны дальнего плавания, слушая рассказы записного вряля, умолкали обычно, не в силах противопоставить его байкам свои заморские сказанья; когда он принял на себя имя Лидский Робин Гуд, окрестные бедняки жили его лихим разбоем, когда же благодаря фальшивым подрядам, мифическим концессиям и несуществующим стройкам, провозглашённым в сопредельных странах, он разбогател, Лида получила вполне осязаемые бонусы: при его непосредственном участии в городе открылась женская гимназия Новицкой на полсотни учениц, были отремонтированы фарный костёл, синагога, гарнизонная церковь 172-го пехотного полка и даже здание городской Полицейской управы, к нему приходили с прошениями кустики, ремесленники, мелкие предприниматели — получив безвозмездные ссуды, они открывали мельницы, лесопилы, мастерские, а в конце двадцатых он помогал устроить мотоциклетное ралли Лида — Варшава и не упустил, конечно, возможности участвовать, — оседлав новенький *Harley-Davidson* 1928 года, он помчался на запад, пролетел Гродно, Белосток, в Замбруве задавил курицу, в Острув-Мазовецке возле городской ратуши въехал в полуторавековое дерево, помнившее ещё, надо думать, самого Костюшко, и, совсем чуть-чуть не добравшись до финиша, буквально в десятке километров от Варшавы свалился в глубокую сырую балку; он любил жизнь во всех её проявлениях и не мог, конечно, прожить век тихим обывателем провинциального местечка... дети его были такие же, как он, мы помним: шесть мальчиков, рождённых от него цыганками, прижились в Кении, потерявшиеся близнецы — в Испании, ещё мальчик,

явившийся на свет в Египте, вырос на берегах озера Кинерет, и ещё один мальчик, тот, что родился в трюме корабля во время плавания по Красному морю, — в Индии, кроме того, в двадцать шестом у бабушки с бабушкой уже в Лиде появилась маленькая Соня, да только, заглядывая в глаза новорождённой, родители видели в них какую-то невнятную смертную тоску, сообщавшую им, что девочка не продолжит род и вообще неизвестно, доживёт ли до юношеских лет, — Прасковья, её мать, родилась в начале века в своём древнем Чижикове не в больнице и не дома под присмотром акушерки, а на солнечной июльской пасеке, которую держал Красивый Чижик, её благостный отец; приведя жену на пасеку, он постелил ей возле ульев чистую дерюжку, чтобы она могла спокойно отдыхать, пока пчёлы делают свою работу... а она так любила пасеку и её дурманный запах, в котором звучали ноты мёда, прополиса, перги и золотых медоносов! — задремав в ласковой тени сиреневых кустов, она и не ощутила, как ребёнок выбрался наружу и громким криком разбудил её... прибежал Чижик, и окрестные птицы слетелись взглянуть на младенца, а пчёлы, оставив на минутку работу, с интересом опустились подле; отец перерезал пуповину и завернул дочь в свою рубаху... малышка лежала под сиренью, морщила лобик и, казалось, сосредоточенно вслушивалась в *согласное гуденье насекомых*... запах пасеки всегда сопровождал Прасковью, и даже после боя, когда, казалось, пороховая вонь безраздельно овладевала всем пространством, одеждой и телами воинов, Паша всё равно пахла мёдом, прополисом, пергой и золотыми медоносами... сто лет спустя я приходил на Николо-Архангельское кладбище,